

РАСКАЯНИЕ И САМООГРАНИЧЕНИЕ как категории национальной жизни

1

Блаженный Августин написал однажды: «*Что́ есть государство без справедливости? Банда разбойников*». Разительную верность такого суждения, я думаю, охотно признают очень многие и сегодня, через 15 веков. Но заметим приём: на государство расширительно перенесено этическое суждение о малой группе лиц.

По нашей человеческой природе мы естественно судим так: обычные индивидуальные человеческие оценки и мерки применяем к более крупным общественным явлениям и ассоциациям людей — вплоть до целой нации и государства. И у разных авторов разных веков можно найти немало таких перенесений.

Однако социальные науки — чем новее, тем строже — запрещают нам такие распространения. Серьёзными, научными теперь признаются лишь те исследования обществ и государств, где руководящие приёмы — экономический, статистический, демографический, идеологический, двумя разрядами ниже — географический, с подозрительностью — психологический, и уж совсем считается провинциально оценивать государственную жизнь этической шкалой.

А между тем люди, живя общественными скоплениями, несколько не перестают быть людьми и в скоплениях не утрачивают (лишь огрубляют, иногда сдерживают, иногда разнуздывают) всё те же основные человеческие побуждения и чувства, всем нам известный спектр их. И трудно понять эту надменную грубизну современного направления социальных наук: почему оценки и требования, так обязательные и столь применимые к отдельным людям, семьям, малым кружкам, личным отношениям, — уж вовсе сразу отвергаются и запрещаются при переходе к тысячным и миллионным ассоциациям? На такое распространение никак не меньше оснований, чем из грубого экономического процесса выводить сложное психологическое поведение обществ. Барьер переноса во всяком случае ниже там, где сам принцип не перерождается, не требует рождения живого из мёртвого, а лишь распространения себя на большие человеческие массы.

Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда: не может человеческое общество быть освобождено от законов и требований, составляющих цель и смысл отдельных человеческих жизней. Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно: применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... Да так все и пишут, даже самые крайние экономические материалисты, ибо остаются же людьми. И ясно: какие чувства преимущественно побеждают в людях данного общества — те и окрашивают собой в данный момент всё общество, и становятся нравственной характеристикой уже всего общества. И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов.

И всегда открыто для каждого, даже неучёного, и представляется весьма плодотворным: не избегать рассмотрения общественных явлений в категориях индивидуальной душевной жизни и индивидуальной этики.

Мы здесь попытаемся сделать так лишь с двумя: раскаянием и самоограничением.

2

Труден ли, лёгок ли вообще этот перенос индивидуальных человеческих качеств на общество, — он труден безмерно, когда желаемое

нравственное свойство самими-то отдельными людьми почти нацело отброшено. Так — с раскаянием. Дар раскаяния, может быть более всего отличающий человека от животного мира, глубже всего и утерян современным человеком. Мы повально устыдились этого чувства, и всё менее на Земле заметно его воздействие на *общественную* жизнь. Раскаяние утеряно всем нашим ожесточённым и суматошным веком.

И как же переносить на общество и нацию то, чего не существует на индивидуальном уровне? — тема этой статьи может показаться преждевременной и даже ненужной. Но мы исходим из несомненности, как она представляется нам: что и раскаяние (покаяние) и самоограничение вот-вот начнут возвращаться в личную и общественную сферу, уже подготовлена полость для них в современном человечестве. А стало быть, пришло время обдумать этот путь и общенационально — понимание его не должно отстать от неизбежных самотекущих государственных действий.

Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уж не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на Земле-то нам уцелеть. Тот, много раз предсказанный прорицателями, а потом отодвинутый, *конец света* — из достояния мистики подступил к нам трезвой реальностью, подготовленной научно, технически и психологически. Уже не только опасность всемирной атомной войны, это мы переболели, это море нам по колено, но расчёты экологов объясняют нам нас в полном капкане: если не переменимся мы с нашим истребительно-жадным *прогрессом*, то при всех вариантах развития в XXI веке человечество погибнет от истощения, бесплодия и замусоренности планеты.

Если к этому добавить накал межнационального и межрасового напряжения, то не покажется натяжкой сказать: что без *раскаяния* вообще мы вряд ли сможем уцелеть.

Уж как наглядно, как дорого заплатило человечество за то, что во все века все мы предпочитали порицать, разоблачать и ненавидеть *других*, вместо того чтобы порицать, разоблачать и ненавидеть себя. Но при всей наглядности мы и к исходу XX века не хотим увидеть и признать, что мировая разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между нациями, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии и в постоянном перемещении то теснима светом и отдаёт больше ему, то теснима тьмою и отдаёт больше ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавкою навсегда, а со временем и с поступками человека — колеблется.

И если только это одно принять, тысячу раз выясненное, особенно искусством, — то какой же выход и остаётся нам? Не партийное ожесточение и не национальное ожесточение, не до мнимой *победы* тянуть все начатые накалённые движения, — но только раскаяние, поиск собственных ошибок и грехов. Перестать винить всех *других* — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя.

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой только и можно двинуться вперёд не к новой ненависти, а к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и духовный рост.

Каждого отдельного человека.

И каждого направления общественной мысли.

Правда, раскаявшиеся политические партии мы так же часто встречаем в истории, как тигро-голубей. (Ещё политические деятели могут раскаиваться, многие не теряют людских качеств. А *партии* — видимо, вполне бесчеловечные образования, сама цель их существования запрещает им каяться.)

Зато *нации* — живейшие образования, доступные всем нравственным чувствам и, как ни мучителен этот шаг, — также и раскаянию. Ведь «идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности», — пишет Достоевский («Дневник писателя»; его примеры: еврейская нация создавалась лишь после Моисея, многие из мусульманских

— после Корана). «А когда с веками в данной национальности расплывается её духовный идеал, так падает национальность и все её гражданские уставы и идеалы». Как же обделить нацию правом на раскаяние?

Однако тут сразу возникают недоумения, по меньшей мере такие:

(а) Не бессмысленно ли это? Ожидать раскаяния от целой нации — значит прежде допустить грех, порок, недостаток целой нации? Но такой путь мысли нам решительно запрещён, по крайней мере уже сто лет: судить о нациях в целом, говорить о качествах или чертах целой нации.

(б) Масса нации в целом не совершает единых поступков. А при многих государственных системах она даже не может ни помешать, ни содействовать решению своих руководителей. В чём же ей раскаиваться?

И наконец, даже если отвести два первых:

(в) Как может нация в целом выразить раскаяние? Ведь не больше чем устами и перьями одиночек?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

3

(а) Именно тот, кто оценивает существование наций наиболее высоко, кто видит в них не временный плод социальных формаций, но сложный, яркий, неповторимый и не людьми изобретенный организм, — тот признаёт за нациями и полноту духовной жизни, полноту взлётов и падений, диапазон между святостью и злодейством (хотя бы крайние точки достигались лишь отдельными личностями). Конечно, всё это сильно меняется с ходом времени, с течением истории, та самая подвижная разделительная черта между добром и злом, она всё время колеблется по области сознания нации, иногда очень бурно, — и потому всякое суждение, и всякий упрек и самоупрек, и само раскаяние связаны с определённым временем, утекают вослед ему и только напоминательными контурами остаются в истории.

Но ведь и отдельные личности так же неузнаваемо меняются в течении своей жизни, под влиянием ее событий и своей духовной работы (и в этом — надежда, и спасение, и кара человека, что изменения доступны нам и за свою душу ответственны мы сами, а не рождение и не среда!), тем не менее мы рискуем раздавать оценки «дурных» и «хороших» людей, и этого нашего права обычно не оспаривают.

Между личностью и нацией сходство самое глубокое — в мистической природе нерукотворности той и другой. И нет человеческих доводов — почему, разрешая оценивать одну изменчивость, запрещать оценивать другую. Это — не более как условность престижа, может быть и предусмотрительная против неосторожных употреблений.

Но, продолжая стоять на ощущении интуитивном, — как чувствуется, а не как указывается позитивным знанием: у подавляющего большинства людей существуют национальные симпатии и антипатии, иногда они общи какому-то кружку людей, узкому или широкому, и внутри него высказываются (не слишком вслух, стыдясь перед ликом века), иногда это чувство (любви или ненависти, но чаще ненависти, увы) такое сильное, что захлестывает целые нации и уже прорывается грубо, если не воинственно. Часто эти чувства вызваны ошибочным или поверхностным опытом субъекта, всегда — они ограничены во времени, то возникают, то гаснут, но они *существуют*, и даже очень категорические, это известно всем, и лицемерие — в запрете об этом говорить.

Меняются условия жизни нации — меняются и обстоятельства: есть ли ей в чём раскаиваться *сегодня*. Сегодня — может и не быть. Но, по изменчивости существования: как человеку не прожить, не совершив греха, так не прожить и нации. И нельзя представить себе такой, которая за всю длительность своего бытия не имела бы, в чём покаяться. Без исключения каждая нация, как бы она ни ощущала себя сегодня гонимой, обделённой и неущербно-правой, — в какое-то время несомненно внесла и свою долю бессердечия, несправедливости, надменности.

Примеров слишком много, их вереницы, а эта статья — не историческое исследование. Подлежит отдельному размышлению и: вины какой давности еще висят на национальной совести, а какие — уже нет? Для Турции, со свежей виной в армянской резне, прежних несколько веков насилия над балканскими славянами — еще живая вина сегодня? или уже нет? (Пусть не упрекнёт меня нетерпеливый читатель, что я не сразу начинаю с России, — конечно, вот-вот будет Россия, как можно иначе у русских?)

(б) Сейчас никто не будет оспаривать, что английский, французский или голландский народ целиком несёт на себе вину (и в душе своей — след) колониальной деятельности своих государств. Их государственная система допускала значительные помехи колонизации со стороны общества. Но помех таких было мало, нация втягивалась в это завлекательное мероприятие кто участвием, кто сочувствием, кто признанием.

А вот случай гораздо ближе, из середины XX века, когда общественное мнение западных стран почти господствует над деятельностью своих правительств. После окончания Второй Мировой войны британская и американская военные администрации поговору с советской систематически выдавали ей на юге Европы (Австрия, Италия) — и не только там! но и со своих территорий — *сотни тысяч* гражданских беженцев из СССР (это — помимо военных контингентов), не желавших возвращаться на родину, — выдавали *обманом*, не предупреждая, против ведома и желания, выдавали по сути на смерть, — вероятно, половина их убита лагерями. Соответствующие документы до сих пор тщательно скрываются. Но — были живые свидетели, и сведения, конечно, растекались среди англичан и американцев, и за четверть века было немало возможностей в тех странах послать запросы, поднять бучу, судить вичновных, — но не последовало ни движения. Причина: что судьбы восточноевропейцев для сегодняшнего Запада — отдалённые тени. Однако равнодушные — никогда не снимало вины. Именно через равнодушное молчание это гнусное предательство военной администрации расплодилось и запятнало национальную совесть тех стран. И раскаяния — не выразил никто донныне.

Сегодня в Уганде ретивый генерал Амин высылает азиатов как будто своим единоличным решением, — но несомненно корыстное сочувствие населения, поживляющегося добычей высылаемых. Так начинают угандийцы свой национальный путь, и, как во всех молодых странах, прежде страдавших от угнетения, а ныне рвущихся к физической силе, раскаяние — самое последнее в ряду тех чувств, которые им предстоит переживать.

Гораздо сложнее доказывать ответственность албанцев за деятельность своего фанатического правителя, тяжестью гнёта только потому обращённую внутрь, что на внешнее давление не хватает сил. Но та энтузиастическая прослойка, на которой он парит, — не из простых ли албанских семей собралась?

В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям — оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи.

Тысячелетиями известно выражение: *за грехи отцов*. Кажется: мы не можем за них раскаиваться, мы даже не жили в то время! мы ещё менее за то ответственны, чем подданные тоталитарного режима! Но выражение — не спуста взято, и слишком часто мы видели и видим *расплату* детей за отцов.

Мистически спаянная в общности вины, нация направлена и к неизбежности общего раскаяния.

(в) Индивидуальное выражение общего раскаяния не только спорно по представительности: насколько выразитель его полномочен. Оно и чрезвычайно тяжело для самих выразителей: в отличие от раскаяния

индивидуального, где советы посторонних и даже близких не могут иметь для тебя веса, коль скоро в это состояние ты уже вступил душою, — тот, кто взялся выразить раскаяние национальное, всегда будет подвергаться веским отговорам, укорам, предостережениям: как бы не опозорить свою страну, как бы не дать пищу её врагам. К тому ж, единолично произнося слова раскаяния в масштабах общественных, неизбежно *делить* вину, указывать на разные степени её у разных групп, — а это уже меняет, затемняет самый дух и тон раскаяния. Только в историческом отдалении мы можем с несомненностью судить, насколько верно было передано одним человеком истинное душевное движение своей нации.

Но бывают примеры — и Россия яркий тому, когда раскаяние выражено не однократно, не единоминутно одним писателем или одним оратором, а стало постоянным чувствованием всей активной общечности. Так в XIX веке распространилось раскаяние в русской дворянской интеллигенции (даже с таким пережёлтением, что покаянщики за собой уже не признавали ничего доброго, а за простым народом никаких грехов) — и, развиваясь, и захватывая интеллигенцию разночинную, и принимая реальные формы, стало историческим действием неисчислимых — и даже обратных — последствий.

Раскаяние нации вернее всего, осязательнее всего и выражается в её д е л а х. Делах конечных.

Сильное движение раскаяния мы видим и в нашу расчётливую, беспокоящую эпоху — у страны, несущей на себе вину двух мировых войн. Увы, не у всей той нации. У той половины (трёх четвертей) её, где на пути раскаяния не стала запретной бетонной стеной идеология ненависти.

Это раскаяние — не словесное, не в уверениях, а в реальных поступках, в больших уступках — драматически явлено нам через Canossa-Reise канцлера Брандта в Варшаву, в Освенцим, затем в Израиль. Элементы этого раскаяния вероятно влились и в опрометчивую Ostpolitik. Практически эта политика не сбалансирована, какой бывают все «политики» всегда. Она родилась, быть может, из нравственных задач, в облаке того раскаяния, которое наполнило атмосферу Германии после Второй Мировой войны. Именно этим нравственным импульсом, а не государственным расчётом, она и выделяется. Подобные движения жаждают увидеть сегодня и от других наций и стран. (От первых — н а с!) Оправдала бы она себя и практически, если бы от восточно-европейских партнёров встретила бы такое же душевное движение, а не выхватывающую политическую корысть.

4

Однако пристойно автору русскому и пишущему для России обратиться и к раскаянию — русскому. Эта статья и пишется с верой в природную склонность русских к раскаянию, к покаюнию, а потому в нашу способность даже и в нынешнем состоянии найти импульс к нему и явить всемирный пример.

Не случайно одна из опорных пословиц, выражающих русское миропонимание, была (б ы л а до революции...) —

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ.

Конечно, не от одной природы нашей так, но, влиятельней, от православия, очень искренне усвоенного когда-то всею народной толщей. (Эт о т е п е р ь мы почти поголовно уверены, что *сила соломѹ ломит*, и соответственно служим тому.)

Дар раскаяния был послан нам щедро, когда-то он заливал собою обширную долю русской природы. Не случайно так высоко стоял в нашей годовой череде *Прощёный день*. В дальнем прошлом (до XVII века) Россия так богата была движениями покаюния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния — вернее религиозного покаюния, массового: когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно,

это и есть высший, истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы Древней Руси, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически-жестокый быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литература изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного опаматования царя.

Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание покаяния, высушивание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами — кострами, щипцами, крюками и подземельями, ещё два с половиной века продолженную бессмысленным подавлением миллионов безответных, безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, — за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла покаяния. И это не могло не лечь валуном на всё русское будущее. А просто: в 1905 гонимых *простили...* (И то слишком поздно, так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти.)

Весь петербургский период нашей истории — период внешнего величия, имперского чванства — всё дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели на век или более передержать немислимое крепостное право — теперь уже большую часть своего народа, собственно наш народ содержа как рабов, не достойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворения нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же: невиданным террором и возвратом, через 70 лет, крепостного права ещё худшего типа.

В XX веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закаленной русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмеяли его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние, покаяние жило. Вот уже полвека мы движимы уверенностью, что *виноваты* царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, модернисты, — только не мы с тобой! Стало быть и исправляться не нам, а им. А они — не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком (револьвером, колючей проволокой, голодом)?

Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а — своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого, и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придётся внутреннего, в чём не укорят нас извне.

Легко ли будет всё честно вспомнить — нам, потерявшим самое чувство правды? Мы, нынешнее старшее и среднее поколения, всю нашу жизнь только и брели и хлопали зловонным болотом общества, основанного на насилии и лжи, — как же не замараться? Есть такие прирождённые ангелы — они как будто невесомы, они скользят как будто поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами её поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это — праведники, мы видели их, удивлялись («чудаки»), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, — и тут же погружались опять на нашу обречённую глубину. Мы брели кто по щиколотку (счастливы), кто по колено, кто по пояс, кто и по горло, кому как приходилось в разное время и по

особенностям природы, а кто и вовсе погружался, лишь редкими пузырьками сохранившейся души ещё напоминающая о себе на поверхности.

А общество — из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности справедливого, неверия в доброе, — эта болотная жижа, она и была составлена из нас, из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживёшь, — и в том воспитывали наших детей. Каждый из нас, если станет прожитую свою жизнь перебирать честно, без уловок, без упрятков, вспомнит не один такой случай, когда притворился, что уши его не слышат крика о помощи, когда отвёл равнодушные глаза от умоляющего взора, сжёг чьи-то письма и фотографии, которые обязан был сохранить, забыл чьи-то фамилии и знакомство со вдовами, отвернулся от конвоируемых и, конечно же, всегда голосовал, вставал и аплодировал мерзости (хоть и в душе испытывая мерзость), — а как бы иначе уцелеть? Но и: великий Архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный?

Уж говорить ли о прямых доносчиках, предателях и насильниках, которых, наверно, тоже был не один миллион, иначе как бы управиться с таким Архипелагом?..

И если мы теперь жаждем — а мы, проясняется, жаждем — перейти наконец в общество справедливое, чистое, честное, — то каким же иным путём, как не избавившись от груза нашего прошлого, и *только* путём раскаяния, ибо виновны все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды: кубики не те*.

А если прольются многие миллионы раскаяний, признаний и скорбей — пусть не все публичные, пусть между друзей и знающих тебя, — то всё вместе как же это и назвать, если не *раскаянием национальным*?

Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражение из собственной среды: Россия слишком много выстрадала, чтобы ещё каяться, её надо жалеть, а не растревлять напоминанием о грехах.

И правда: как наша страна пострадала в этом веке, сверх мировых войн уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, — так никто не истреблялся в современной истории. И правда: больно упрекать, когда надо жалеть. Но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были — не от наводнений, не от землетрясений. Жертвы были и невинные, и винные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих: для того нужно было соучастие *наше, всех нас, России*.

Даже и более жёсткая, холодная точка зрения, нет, течение определилось в последнее время. Вот оно (обнажённо, но не искажённо): русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чём-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России-СССР сияющие; принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью, что же касается духа, то

* Линия раскаяния отчётливее понимается, отличается, если сравнить её с линией защиты гражданских прав. Вот свежий недавний пример, в нём как в капелке видно. Александр Галич в прошлые годы в русле казённого творчества написал сценарий по поводу советско-французской дружбы, весьма одобренный, допущенный на советские экраны, и этим определяется его духовная цена. По случаю недавнего дипломатического торжества признано было уместным этот фильм демонстрировать снова, но фамилию провинившегося с тех пор сценариста — вырезать. И что же сценарист? Как бы естественно реагировать ему? Линия раскаяния: испытать бы радость, что позор прежней духовной сделки как бы сам отваливается от него, сам собою отпадает грех давний. Даже, может быть, и публично выступить с этим очистительным чувством? И сценарист выступает публично, да, — но с *протестом*, отстаивая своё право на подпись под фильмом. Ущемление гражданского права кажется ему важнее, чем очищение от старого греха.

здесь допускаются любые направления, и православие — нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественнонаучное мировоззрение или, например, индуизм; писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой.

Всё это вместе у них называется *русская идея*. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)

«Мы русские, какой восторг!» — воскликнул Суворов. «Но и какой соблазн», — добавил Ф. Степун после революционного нашего опыта.

А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов, великих вечно или благородных вечно: это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в громе труб: неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа — в высоте *внутреннего* развития; в душевной широте (к счастью, природнённой нам); в безоружной нравственной твёрдости (какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем не надолго потревожив совесть её).

В советский период ещё раздулась и ещё слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так всё далее от раскаянного сознания это уводило нас, что не легко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несёмся по небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище. И если не вернём себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечёт за собою весь мир.

Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому — чистого вырастить нельзя.

5

Пытаясь выразить национальное раскаяние, приходится испытать не только враждебное сопротивление с одной стороны, но и страстное вовлечение с другой. Писал С. Булгаков, что «только страждущая любовь даёт право на национальное самозаушение»*. Кажется: нельзя «раскаиваться», ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, «за» который взялся раскаиваться? Однако именно такие охотники уже проявились. А при затемнённости нашей близкой истории, уничтожении архивов, потере свидетельств, потому беззащитности нашей от любых самоуверенных и непроверенных суждений, от любых обидных извращений, вероятно много ждёт нас таких попыток, и вот первая же из них — достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше как «национальным раскаянием».

Не миновать её тут разобрать. Это статьи в №97 «Вестника Русского Христианского Студенческого Движения», особенно — «Metanoia» (самоосуждение, самопроверка, от Булгакова же и взято, из 1911 года) анонимного автора NN и «Русский мессианизм» такого же анонима Горского.

В самом смелом Самиздате всё равно будет оглядка на *условия*. Здесь — в зарубежном издании и анонимы, авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу — чувство, очень понятное советскому человеку. Резкость — предельная, слог становится развязан, даже и с заносом, авторы не боятся не только властей, но уже и читательской критики: они невидимки, их не найти, с ними не поспорить. Ещё и от этого урезаны их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени совинновности авторов со своими соотечественниками, с нами, остальными, а только: обличение безнадежно порочного русского народа, тон презрения к

* С. Булгаков. Два града. Т. 2, с. 289.

совращённым. Нигде не ощущается «мы» с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны. (Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век.)

Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай — как хоронят эзков: лень проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и сбрасывай в могильник.

Вот несколько утверждений оттуда.

— (Горский) Русский народ, начиная свой бунт против Бога, з н а л, что осуществление социалистической религии возможно лишь через деспотизм.

Да когда ж это мы, в лаптях, были так остро развиты? Бунт начинала — интеллигенция, но и она *не знала* того, что так доступно формулировать в 70-е годы XX века.

— (NN) Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной.

Не станем говорить, что Россией принесено в мир мало зла. А — так называемая Великая французская революция и, стало быть, Франция принесли зла — меньше? Это — подсчитано? А Третий Райх? А марксизм сам по себе? уж даже если ни о ком другом... И наоборот: наш бесчеловечный опыт, который мы перенесли в основном собственной кровью и кровью роднейших нам народов, — может быть и пользу принёс кое-кому на Земле подалее? Может быть научил кое-где правящие тупые классы в чём-то уступить? Может быть освобождение колониального мира произошло не без влияния российской революции, как реакция — не допустить до нашего? Это Бог один может знать, это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла.

— (Горский) «В революцию народ оказался мнимой величиной.» «Собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу.» Доказательство: «В первые годы революции иконы оказались пригодны на дрова, храмы на кирпичи».

Вот это и есть: приходи кто хочешь и суди с наскака, наши летописи изничтожены. Если народ оказался мнимой величиной — тогда он в революции и не виноват, вопреки остальным обвинениям? Если он оказался мнимой величиной — кто же тогда сопротивлялся разлившимся крестьянскими восстаниями — тамбовским, сибирским? До мнимости ещё надо было его *довести* многолетним истреблением, согбением и соблазном — и именно об этом истреблении Горский как будто не ведаёт. Сложный процесс — и до чего ж упрощён. В 1918 русские крестьяне поднимались за церковь на бунты, и таких насчитывается *несколько сот*, подавленных красным оружием. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры в крестьянстве и в городских приходах, остальных напугали, а подросла комсомольско-пионерская молодёжь, — после этого, да, пошли храмы ломками бить (и то больше: комсомольцы да по службе на эту работу поставленные). Но и с тех пор в северных краях столичным искателям не «за бесценку продаются» иконы, как пишет знающий автор (за бутылку бывает, да), а и д а р о м же отдаются: считается грехом брать деньги за них. А вот прогрессивные юные интеллигенты, получившие такой подарок, этими иконами нередко потом выгодно торгуют с иностранцами.

Но более всего в объёмной этой публикации отдаётся пыла и страниц разоблачению *русского мессианизма*.

— (Горский) «Преодоление национального мессианского соблазна — первоочередная задача России.» Русский мессианизм — живучее самой России: Россия умерла, она «археологична», как Византия, а мессианизм её не умер, переродился в советский.

Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва с дутым академизмом прослеживается «история» злосчастного бессмертного мессианизма, который, однако, почему-то пребывал в России не всегда: два века (с XV по

XVII) будто бы наличествовал, потом два века явно начисто отсутствовал, потом в XIX веке будто опять возник (и «захватывал интеллигенцию», — кто помнит такое?), в революцию прикинулся «пролетарским мессианизмом», а в последние десятилетия сошёл маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках, идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде... Третьего Интернационала! (Ученическое повторение заносов Бердяева.) С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то всё неулавливаемой цели — и это под соблазнительным видом *раскаяния!* Удары будто направлены всё по Третьему Риму да по мессианизму, — и вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добывает в лоб и в глаз — давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание. И вот как уцеливает:

— «русская идея есть главное содержание большевизма!» «Кризис коммунистической идеи есть кризис того источника веры, которым долго (по тексту — веками. — А.С.) жила Россия».

Вот как, под видом раскаяния, нас выворачивают и топчут. Россия «длгое время жила» православием, известно. А главное содержание большевизма — неуёмный, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по неохристианскому автору, это всё едино суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. «Русская идея» — «главное содержание» интернационального учения, пришедшего к нам с Запада? А когда Марат требовал «миллион голов» и утверждал, что голодный имеет право *съесть* сытого (какие знакомые ситуации!), — это тоже было «русское мессианское сознание»? Коммунистическими движениями кишела Германия XVI века, — отчего же в России в XVII веке, в Смутное Время, при такой «русской идее», ничего подобного не было?

— (NN) «Только на основе вселенской русской спеси стал возможен соблазн революции.»

Как это сплести? Если на «вселенской русской спеси» стоял царизм, а революция есть разрушение и смывание кровью всей конструкции царизма, то почему же она *происходит* от «русской спеси»?

— (Челнов) «Пролетарский мессианизм приобретает ярко выраженный русофильский характер.»

Это сегодня, сейчас приобретает, когда половина русских находится в крепостном состоянии, без паспортов. А найдём ли память и мужество вспомнить те первые революционные лет 15, когда «пролетарский мессианизм приобрёл ярко выраженный» *руссофобский* характер? Те годы, с 1918 по 1933, когда «пролетарский мессианизм» уничтожил цвет русского народа, цвет старых классов — дворянства, купечества и священства, потом цвет интеллигенции, потом цвет крестьянства? Пока он ещё не принял «ярко выраженного русофильского характера», а имел ярко выраженный руссофобский, — что скажем о времени т о м?..

— (NN, Челнов) Большевизм есть органическое порождение русской жизни.

Так или не так — об этом ещё долго и многие будут споры идти. И решение не может найтись ни в чьей публицистической горячности, но — подробными обоснованными исследованиями. Один «Тихий Дон» — подлинный, не искажённый безграмотными врезками, — больше свидетельствует здесь, чем дюжина современных публицистов. Ещё долго будут спорить наши учёные и художники: была ли русская революция следствием уже произошедшего в народе нравственного переворота? Или наоборот? И да не будут при том забыты никакие обстоятельства, теперь не напоминаемые.

Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но и вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия? Когда в продовольственном или карательном отряде, приходившем уничтожать волость, случалось — почти никто не говорил по-русски, зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК избивал латышами, поляками, евреями, мадьярами, китайцами? Когда большевицкая власть в острые ранние периоды

Гражданской войны удерживалась на перевесе именно иностранных штыков, особенно латышских? (Тогда этого не скрывали и не стыдились.) Или позже, все 20-е годы, когда во всех областях культуры (и даже в географических названиях) последовательно вытравлялась вся русская традиция и русская история, как бывает разве только при оккупации, — это желание самоуничтожиться тоже было проявлением «русской идеи»? Замечает Горский, что году в 1919 границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства, — *значит*, большевизм в основном поддержали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были *принять его на свои плечи*, и только? А разве знаем мы на Земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся? Таких примеров ещё нет, кроме Южной Кореи, где помогала ООН. Был бы ещё Южный Вьетнам, да, кажется, дали ему подножку. И что же теперь, коммунизм на Кубе и во Вьетнаме «есть органическое порождение русской жизни»? А «марксизм — одна из форм народническо-мессианского сознания» — во Франции? в Латинской Америке? в Танзании? И всё это — от немытого старца Филофея?

Как же разрушена, перекорёжена и затемнена русская история XX века, если, не знаящие её, такие самоуверенные могут являться к нам судьи! Своим равнодушием мы рискуем дожить, что вообще провалятся в небытие 50–100 лет русской истории, и никто уже ничего достоверного о них не установит — будет поздно.

Группа статей в № 97 — не случайность. Это, может быть, замысел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворотить новейшую русскую историю — и а с же, русских, одних обвинить и в собственных бедах, и в бедах тех, кто поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты сегодня. Эти обвинения — характерны, проворно вытащены, беззастенчиво подкинута, и уже предвидится, как нам будут их прижигать и прижигать.

Вся и моя статья написана не для того, чтобы применить вину русского народа. Но и не соскребать же на себя все вины со всей матушки-Земли. Не имели защитной прививки — да, растерялись — да, поддались — да, потом и отдались — да! Но — не изобрели первые и единственные мы, ещё с XV века!

Не мы одни — и многие так, едва ли не все: подкатывает пора — поддаются, отдают, и даже при меньшем давлении, чем отдались мы, и при лучших традициях, нежели у нас, и даже — «с большой охотой». (Наша краткая история от Февраля до Октября оказалась сжатым конспектом позднейшей и нынешней истории Запада.)

Так уже при начале раскаяния получаем мы предупреждения, какими обидами и клеветами будет утыкан этот путь. Кто начинает раскаиваться первым, раньше других и полней, должен ждать, что под видом покаянников слетятся и корыстные, печень твою клевать.

А выхода нет всё равно: только раскаяние.

6

Может оказаться, что мы уже не способны к этому мечтаемому пути поиска и признания своих ошибок, грехов и преступлений. Но тогда и нельзя увидеть нравственного выхода из нашего провала. А всякий другой выход — не выход. Лишь временный общественный самообман.

Если же мы окажемся настолько ещё не погибшими, что найдём в себе силы пройти эту жгучую полосу общенационального раскаяния, раскаяния внутреннего, что мы тут, внутри страны, наделали сами над собою, — то возможно ли будет России на этом остановиться? Нет, нам придётся решимость в себе найти ещё и на следующие шаги: на признание грехов внешних, перед другими народами. И для очищения мирового воздуха и для убеждения других в нашей искренней расположенности мы не должны ни скрывать этих грехов, ни комкать, ни смягчать в воспоминаниях. Я думаю: если ошибиться в раскаянии, то

верней — в сторону большую, в пользу других. Как в Прощёный день просят прощения у всех окружающих.

Охват раскаяния — бесконечен. Тут не избежать и давних грехов, и то, что другим мы можем зачесть в давность, себе — не имеем права. Страницами несколькими ниже предстоит говорить о будущности Сибири — и вздрагивает сердце о нашем предавшем грехе потеснения тех коренных сибирцев, которые не по доброй воле соединились с нами. И какая ж тут давность? Но поскольку лишь эфемерным рассеянием иные присутствуют на сибирском континенте — дозволено нам искать там своё будущее, с братской нежностью заботясь о коренных, помогая им в быте, в образовании и не навязывая им силою ничего своего.

Исторический обзор — не предмет этой статьи, уже не допускает и объём её. Нашлось бы там достаточно наших вин — таких, как перед горным Кавказом: завоевательный русский натиск XIX века (вовремя и осуждённый русскими великими писателями) и выселение XX века (о котором и сами-то кавказские писатели не смеют).

Раскаяние — всем всегда тяжело. И не только через порог себя-любия, но ещё и потому, что свои вины себе хуже видны.

Возьмём ли русско-польскую линию — нет и здесь конца узлам вин. Проследить их — поучительно в самом общечеловеческом смысле. (Сегодня, когда и поляки и мы раздавлены насильем, может показаться неуместным такое историческое разбирательство. Но я пишу — впрок. Когда-нибудь прозвучит и уместно.)

О наших винах перед Польшей у нас в России достаточно говорено, и в нашей памяти наслоилось, убеждать не надо. Три раздела Польши. Подавление восстаний 1830 и 1863 годов. После того русификация: вовсе запретили начальную польскую школу, в гимназиях даже польский язык преподавался на русском и был не обязателен, на квартирах ученикам между собою запрещалось говорить по-польски! В XX веке — упорное вымучивание, как не дать Польше независимость, лукавое двусмысленное поведение русского руководства в 1914–16 годах.

Но зато: сколько же и звучало с русской стороны раскаяния, начиная от Герцена, и как же едино было сочувствие полякам всего русского образованного общества, так что в кругах Прогрессивного блока польская независимость не считалась меньшей целью войны, чем сама русская победа.

Если же по событиям новейшим, в советское время, такого общественного раскаяния в России не прозвучало, то лишь по обстановке нашей подавленности, а помнят все, ещё будут поводы назвать громко: высоко-благородный удар в спину гибнущей Польше 17 сентября 1939 года; и уничтожение цвета Польши в наших лагерях; и отдельно Катынь; и злорадное холодное наше стояние на берегу Вислы в августе 1944 года, наблюдение в бинокли, как на том берегу Гитлер давит варшавское восстание национальных сил, — чтоб им не воспрять, а мы-то найдём, кого поставить в правительство. (Я был там рядом и говорю уверенно: при динамике нашего тогдашнего движения форсировка Вислы не была для нас затруднительна, а изменила бы судьбу Варшавы.)

Но подобно тому, как одни люди легче раскрываются раскаянию, а другие сопротивительней и даже вовсе ни на щёлочку, — так, мне кажется, и нации есть более и менее склонные к раскаянию.

В предыдущие века расцветная, сильная, самоуверенная Польша не короче по времени и не слабее завоёвывала и угнетала нас. XIV–XVI века — Галицкую Русь, Подолию. В 1569 по Люблинской унии присоединение Подлясья, Вольни, Украины. В XVI — поход на Русь Стефана Батория, осада Пскова, разбойство в Средней Руси — до Углича и дальше, сколько разорено церквей, монастырей, уничтожено икон. В начале XVII — войны Сигизмунда III, два самозванца на русский престол, захват Смоленска, временный захват Москвы; поход Владислава IV. В тот миг поляки едва не лишили нас национальной независимости, глубина той опасности была для нас не слабей татарского нашествия, ибо поляки посягали и на православие. И у себя внутри систематически подавляли его, вгоняли в унию. В середине XVII — подавление Богдана Хмель-

ницкого, и даже в середине XVIII — подавление крестьянского восстания под Уманью.)

И что ж, прокатилась ли волна сожаления в польском образованном обществе, волна раскаяния в польской литературе? Никогда никакой. Даже ариане, настроенные против всяких войн вообще, ничего особо не высказали о покорении Украины и Белоруссии. В наше Смутное Время восточная экспансия Польши воспринималась польским обществом как нормальная и даже похвальная политика. Поляки представлялись сами себе — избранным божьим народом, бастионом христианства, с задачей распространить подлинное христианство на «полуязычников» — православных, на дикую Московию, и быть носителями университетской ренессансной культуры. И когда во 2-й половине XVIII века Польша испытывала упадок, затем и после разделов её, публично высказывались о прошлом размышления, сожаления, они носили характер государственно-политический, но никак не этический.

Правда, не всегда поделишь, где общенациональная черта, где отпечаток социального строя. Польский строй со слабыми выборными королями, всеильными магнатами и безмерным своеволием шляхты вёл к шумному самопроявлению её, исключал самоограничение, делал неуместным раскаяние. При таком строе образованные поляки чувствовали себя участниками и деятелями совершаемого, никак не сторонними наблюдателями. Русское же раскаяние XIX и начала XX века облегчалось тем, что осудители политики могли считать себя несоучастными: это всё совершают они, царь не советовался с обществом.

Но может быть польское раскаяние выразилось в делах? Больше столетия испытав горечь разделённого состояния, вот Польша получает по Версальскому миру независимость и немалую территорию (опять за счёт Украины и Белоруссии). Каковы ж первые внешние действия её? Пилсудский (кстати — социалист и однодедец Александра Ульянова по процессу) ловит момент создать «Великую Польшу от моря до моря». Но для этого он не только не выступает против большевиков, а выжидает ослабления России от Гражданской войны. Осенью 1919, в момент наибольших успехов Деникина, Пилсудский ведёт тайные переговоры с большевиками через Мархлевского, гарантирует им своё невмешательство и тем разрешает снять крупные красные силы с белорусского направления на битву под Орлом. Весной 1920, когда Деникин разбит и ждать не остаётся, — Польша энергично нападает на Советскую Россию, берёт Киев, с целью затем выйти к Чёрному морю. У нас в школах учат (чтобы было страшней), что это был «Третий поход Антанты» и что Польша координировалась с белыми генералами, дабы восстановить паризм. Вздор, это было самостоятельное действие Польши, переждавшей разгром всех главных белых сил, чтобы не быть с ними в невольном (и обязывающем) союзе, а самостоятельно грабить и кромсать Россию в её наиболее истерзанный момент. Эта цель Польше не вполне удалась. В августе 1920, при начавшемся крупном наступлении Врангеля, Польша, напротив, вступает в мирные переговоры с большевиками (и берёт с Советов контрибуцию). Следующее внешнее действие её, 1921 года: беззаконное отобрание Вильнюса со всею областью от слабой Литвы. И никакая Лига Наций, никакие призывы и усовещания не подействовали: так и продержала Польша захваченный кусок до самых дней своего падения. Кто помнит её национальное раскаяние в связи с этим? На украинских и белорусских землях, захваченных по договору 1921 года, велась неуклонная полонизация, по-польски звучали даже православные церковные проповеди и преподавание закона Божьего. И в пресловутом 1937 году (!) в Польше рушили православные церкви (более ста, среди них — и варшавский собор), арестовывали священников и прихожан.

И как же над этим всем подняться нам, если не взаимным раскаянием?..

И не правда ли, есть ощущение: острота раскаяния, как личного, так и национального, очень зависит от сознания встречной вины? Если обиженный нами обидел когда-то и нас — наша вина не так надрывна, та встречная вина всегда бросает ослабляющую тень. Татарское иго над Россией навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками

Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больней, стыдней, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки довольно погрохали и в подвалах ЧК и на задворках русских деревень. (Отвергаю неперемненные здесь возгласы: «так это не те! нельзя же с одних — на других!». И мы — не те. А отвечаем все — за всё.)

Это — лишний довод в пользу раскаяния всеобщего. И какое же очищение, даже восторженное, вызывает у нас, когда враги признают свою вину перед нами! С каким рвением добрым хочется перехлестнуть их в раскаянии, превзойти в великодушии!

Но теряет раскаяние смысл, если на нём и обрывается: порыдать, да жить по-прежнему. Раскаяние есть открытие пути для новых отношений. Новых отношений — и между нациями.

Как всякое раскаяние, так и раскаяние нации предполагает возможность прощения со стороны обиженных. Но ожидать прощения, прежде того самим не настроившись простить, — невозможно. Путь взаимного раскаяния есть и путь взаимного прощения.

Кто — не виновен? Виновны — все. Но где-то должен быть пресечен бесконечный счёт обид, уж не сравнивая их по давности, по весу и по объему жертв. Ни сроки, ни сила обид сравняться никогда не могут, ни между какими соседями. Но могут сравняться чувства раскаяния.

Картина такая мне несколько не кажется идиллической, отвлечённой, не относящейся к современной ситуации. Напротив. Как нельзя построить хорошего общества при дурных отношениях между людьми, так и хорошего человечества не будет при дурных, затаённо-мстительных отношениях наций. И никакая *позитивная* внешняя политика и никакие ловчайшие усилия дипломатов так не договаривать договора, чтобы каждая сторона находила успокоение своей гордости, не заглушат семян раздора и не устроят новых и новых конфликтов.

Сейчас вся атмосфера ООН пересыщена ненавистью и злорадством — тем, с которым Ассамблея ликовала (даже, говорят, на скамьи вскакивали экспансивные члены), когда 10 миллионов китайцев Тайваня выкинули из человеческой семьи за то, что они не подчинились тоталитарному захвату.

Без установления существенно *новых*, добрых отношений между нациями вся задача «всеобщего мира» есть или утопия или шаткая эквилибристика.

Взаимных вин особенно много накапливается в государствах многонациональных и в федерациях — таких, как раньше была Австро-Венгрия, как сейчас СССР, Югославия, Нигерия, многоплеменные и многогорасовые африканские государства. Для того чтобы такие государства существовали при внутренней прочности, а не на спайке понуждающей силы, никак не обойтись без развитого чувства раскаяния у живущих там народов — иначе под любой золою будет вечно тлеть и снова, снова вспыхивать огонь, и не будет прочности у этих стран. Западные пакистанцы были безжалостны к восточным — и страна развалилась, но и от этого не утихла ненависть. Напротив, с помощью английского и советского оружия и при равнодушии всего мира север Нигерии кроваво расправился с её востоком, и страну удержали в единстве, — но если это не будет исправлено раскаянием и добром победителей — не будет той стране прочности и здоровья.

Раскаяние есть только подготовка почвы, только подготовка чистой основы для нравственных действий впредь — того, что в частной жизни называется *исправлением*. И как в частной жизни исправлять содеянное следует не словами, а делами, так тем более — в национальной. Не столько в статьях, книгах и радиопередачах, сколько в национальных *поступках*.

По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу.

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как самый естественный принцип — *самоограничение*. Раскаяние создаёт атмосферу для самоограничения.

Самоограничение отдельных людей много раз наблюдало, описано, хорошо всем известно. (Не говоря уже, как оно приятно окружающим в быту, — оно может иметь для человека универсально-полезный характер и во всех областях его деятельности.) Но, сколько знаю, не проводило последовательно самоограничения никакое государственное образование и такой задачи в общем виде себе не ставило. А когда ставило в худую минуту в частной области (продовольствие, топливо и др.), то отлично себя самоограничение оправдывало.

Всякий профессиональный союз и всякий концерн добивается любыми средствами занять наиболее выгодное положение в экономике, всякая фирма — непрерывно расширяться, всякая партия — вести своё государство, среднее государство — стать великим, великое — владеть миром.

Мы с большой охотой порываемся ограничить *других*, тем только и заняты все политики, но сегодня высмеян будет тот, кто предложит партии или государству ограничить *себя* — при отсутствии вынуждающей силы, по одному этическому зову. Мы напряжённо следим, сторожим, как обуздать непомерную жадность *другого*, но не слышно отказов от непомерной жадности *своей*. Не раз уже дала нам история примеры кровопролитий, когда была обуздана жадность меньшинства, — но кто и как обуздает распалённую жадность большинства? Ведь только — оно само.

А мысль об общественном самоограничении — не нова. Вот мы находим её столетие назад у таких последовательных христиан, как русские старообрядцы. В их журнале «Истина» (Иоганисбург, 1867, № 1) в статье К. Голубова, корреспондента Огарёва и Герцена, читаем:

«Своей безнравственную борзостию подчиняется народ злостраданию. Не то есть истинное благо, которое достигается путём восстаний и отъятия: это скорее будет бесчестие развратной совести; но то есть истинное прочное благо, которое достигается *дальновидным самостеснением* (выделено мною. — А.С.)».

И в другом месте:

«Кроме самостеснения нет истинной свободы человеческой».

После западного идеала неограниченной свободы, после марксистского понятия свободы как осознанно-неизбежного ярма, — вот воистину христианское определение свободы: свобода — это самостеснение! самостеснение — ради других!

Такой принцип, однажды понятый и принятый, вообще переключает нас — отдельных людей, все виды наших ассоциаций, общества и нации — с развития внешнего на внутреннее, и тем углубляет нас духовно.

Поворот к развитию внутреннему, перевес внутреннего над внешним, если он произойдёт, будет великий поворот человечества, сравнимый с поворотом от Средних Веков к Возрождению. Изменится не только направление интересов и деятельности людей, но и самый характер человеческого существа (от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности), тем более — характер человеческих обществ. Если процессу этому суждено где-то пройти революционно, то революции эти будут не прежние — физические, кровопролитные и никогда не благодатные, но *революции нравственные*, где нужны и отвага, и жертва, но не жестокость, — некий новый феномен человеческой истории, ещё неизвестный, ещё никем не провидимый в чётких ясных формах. Рассмотрение всего этого выходит за рамки нашей статьи.

Но и в материальной сфере такой поворот отметно скажется. Человеку — не выколачиваться в жажде всё большего и большего заработка и захвата, но экономно, разумно, бессумятно тратить то, что у него есть. Государству — не как сейчас, не применять силу даже иногда без ясной цели, если где давится — непременно дави, если какая стенка

поддаётся передвижке — передвигай, но и между государствами принять индивидуальную мораль: не делай другому, чего не хотел бы себе; но — углублённо осваивать то, что имеешь. Только так и может создаваться упорядоченная жизнь на планете.

Понятие о неограниченной свободе возникло в тесной связи с ложным, как мы теперь узнали, понятием «бесконечного прогресса». Такой прогресс невозможен на нашей ограниченной Земле с ограниченными поверхностями и ресурсами. Перестать толкаться и самостесняться — всё равно неизбежно: при бурном росте населения нас к этому скоро вынудит сама матушка-Земля. Но насколько было бы духовно ценней и субъективно легче принять принцип самоограничения — прежде того, *дальновидным самостеснением*.

Нелёгко будет такой поворот западной свободной экономике, это революционная ломка, полная перестройка всех представлений и целей: от непрерывного прогресса перейти к стабильной экономике, не имеющей никакого развития в территории, объёмах и темпах (а лишь — в технологии, и то успехи её отсеиваются весьма придирчиво). Значит, отказаться от заразы внешней экспансии, от риска за новыми иновыми рынками сырья и сбыта, от роста производственных площадей, количества продукции, от всей безумной гонки наживы, рекламы и перемен. Стимул к самоограничению ещё никогда не существовал в буржуазной экономике, но как легко и как давно он мог быть сформулирован из нравственных соображений! Исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку, и нужны для личной свободы его и нормального самочувствия, и благодетельны были бы для общества, *если бы только...* если бы только носители их на первом же пороге развития *самоограничились*, а не доводили бы размеров и напора своей собственности и корысти до социального зла, вызвавшего столько справедливого гнева, не пытались бы покупать власть, подчинять прессу. Именно в ответ на бесстыдство неограниченной наживы развился и весь социализм.

Но русскому автору сегодня — не этими заботами голову ломать. Аспектов самоограничения — международных, политических, культурных, национальных, социальных, партийных — тьма. Нам бы, русским, разобраться со своими.

И показать пример широкой души. Небесплодности раскаяния.

В той надежде и вере я и пишу эту статью.

8

Может быть, как никакая страна в мире, наша родина после столетий ложного направления своего могущества (и в петербургский и в советский периоды), стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в себе самой, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем *внутреннем* развитии: и духовно, и как последствие — географически, экономически и социально.

Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, не сравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя б на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявляла намерение национализировать средства производства и централизовать власть (эти признаки по марксистской теории — ведущие, все остальные — национальные, бытовые, тысячелетних культур — второстепенны). Наша страна неумоимо вмещивается в конфликты всех материков, судит и рядит, подталкивает к ссорам и бесстыдно гонит оружие первым товаром советского экспорта (то, что в советских газетах до 40-х

годов называлось «торговцы кровью»)*. В погоне за всеми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощили свои силы, мы подорвали свои поколения: предыдущие — больше физически, сегодняшние — больше духовно.

Мы — устали от этих всемирных, нам не нужных задач! Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам: что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для жителя деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми нелепыми постройками, где мы отравляемся, издёргиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство, потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка — целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие, и только на преодолении их ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли тёплых морей нам добиваться или чтобы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы?

А ещё ко всему, похваляясь своею передовитостью, мы рабски копировали западный технический прогресс и вместе с ним бездумно вporолись в кризисный тупик, угрожающий сегодня существованию всего человечества.

Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать своё горе в себе, так надо и русскому народу: побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей. Сосредоточиться на задачах внутренних: на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома.

Лечение наших душ! — ничего нет для нас важнее теперь, после всего отжитого, после нашего всежизненного участия во лжи и даже злодействах. Поколения старшие, быть может, уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. *Школа* — это ключ в будущую Россию! А такая задача — худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену — противоречива, сложна, не в одну волну решается, бессчётных усилий требует: всю систему народного просвещения надо пересоздать, и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты — и взять их надо за счёт трат наших внешних, ненужных, хвастливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую дрзку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности.

К счастью, дом такой у нас есть, ещё сохранён нам историей, неизгаженный просторный дом — русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригреть державною рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, — обратим своё национальное и государственное усердие на неосвоенные пространства Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпима становится для соседей по нынешней плотности земной жизни.

Северо-Восток — это Север Европейской России — Пинега, Мезень, Печора, это и — Лена и вся средняя полоса Сибири, выше магистрали, посегодняя пустующая, местами нетронутая и незнаемая, каких почти не осталось пространств на цивилизованной Земле. Но и тундра и вечная мерзлота Нижней Оби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно при технике XXI века и перенаселении его.

Северо-Восток — тот ветер, к нам, описанный Волошиным:

В этом ветре — вся судьба России...

Северо-Восток — тот вектор, от нас, который давно указан России для её естественного движения и развития. Он уже понимался Новгород-

* По данным западных специалистов, с 1955 по 1970 СССР продал оружия на 28 миллиардов долларов; в 70-х годах его доля в мировой торговле оружием — 37,5 %.

дом, но заброшен Московской Русью, осваивался самостоятельным негосударственным движением, потом изневольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежён, несмотря на шумные планы.

Северо-Восток — это напоминание, что мы, Россия, — северо-восток планеты, и наш океан — Ледовитый, а не Индийский, мы — не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего! наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном вызвании. Но лишь два-три десятилетия ещё, может быть, оставлены нам для этой работы: иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас.

Северо-Восток — ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земли, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость — к Северо-Востоку, вот дальновидное решение. Его пространства дают нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространства дают нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог. Его холодные, местами мёрзлые пространства ещё далеко не готовы к земледелию, потребуют необъятных вкладов энергии, — но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы её не разбазарили.

Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных, лаем человекоядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства.

Северо-Восток — более звучания своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор *самоограничения*, выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне; всё развитие своё — национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан — направит к расцвету внутреннему, а не внешнему.

Это не значит, что мы закроемся в себе уже навек. То и не ответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы, несомненно, ещё сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым. Но — не по политической корысти: не для того, чтоб они жили по-нашему или служили нам.

Возразят: но как далеко могут нация, общество, государство зайти в самоограничении? Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешёл к самоограничению, а соседи его — нет, — должен ли он быть готов противостоять насилию?

Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно — защиты, но лишь соразмерно с непридуманной угрозой, не самодовлеющие, не самозатягивающие, не для роста и красоты генералитета. Оставлены — в надежде, что начнёт же меняться и вся атмосфера человечества.

А не начнёт меняться, — так уже рассчитано: жизни нам всем осталось менее ста лет.

Ноябрь 1973